

ПРОСТРАНСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКТОР  
РОССИЙСКИХ МОДЕРНИЗАЦИЙ

В формировании предпосылок модернизации (особенно ранней, связанной с деятельностью Петра I) территориальный рост России, бурно происходивший с конца XVI в., играл немаловажную, в некоторых отношениях — решающую роль. В сочетании экономической политики правительства, находившейся под влиянием распространявшейся в Западной Европе идеологии и практики меркантилизма, и русской территориальной экспансии, с определенного времени превратившейся в доминанту государственного строительства, во многом следует искать специфику (с присущими ей резонансными «всплесками» и расходящимися траекториями) российского опыта модернизации. Меркантилизм, возникший на европейской исторической почве XVII—XVIII вв., в России начиная с петровского эпохи приобретал совершенно особое и долговременное значение в качестве важного коррелята имперского «строительства». Могущество (или, в привычных терминах эпохи, «сила и богатство») государства в решающей степени зависело, с одной стороны, от полноты и завершенности внутреннего хозяйственного цикла (включая его стратегическую неуязвимость по различным группам экономических ресурсов), с другой, от динамики внутренних накоплений, получавших универсальное выражение прежде всего в виде избытка драгоценных металлов (как результата превышения экспорта над импортом).

Уже на стадии своего зарождения политика меркантилизма с необходимостью порождала стремление обеспечить в единых государственных рамках максимальную полноту хозяйственного цикла и вовлекаемых в него стратегических ресурсов, что, в свою очередь, стимулировало беспрецедентный процесс расширения государственной территории России. В большинстве западноевропейских государств, испытывавших недостаток пространственного (а в силу этого и ресурсного) резерва развития и к тому жестко связанных в своих экспансионистских устремлениях системой так называемого «политического равновесия», начиная с XVI в. формируется тип «глобальной» экономики, основанной на международном разделении труда. В рамках этой «первой глобализации» (по И.Валлерстайну) отдельные национальные экономики концентрировались только на определенном участке всего спектра хозяйственной деятельности и пополняли свой экономический потенциал с помощью международной торговли. Сосредоточение на производстве специализированного продукта приводило к высвобождению ресурсов из трудоемких и неэффективных видов деятельности (например из аграрной экономики) и в конечном итоге усиливало в наиболее развитых странах Западной Европы импульсы перехода к индустриализации. Развитие международного обмена достаточно быстро закрепило это «стартовое» лидерство Западной Европы, способствуя неравномерному распределению «эффекта развития» через растущую зависимость стран аграрной и сырьевой экономики (Восточная Европа) от экономических центров, специализирующихся на производстве промышленных изделий и развитии сектора финансовых услуг [1].

России, относительно изолированной в пространственно-экономическом и культурно-религиозном отношении от Европы, благодаря исходному цивилизационному перевесу над политически разобщенной и экономически маргинальной периферией северо-востока, востока и юга, удалось восполнить недостаток необходимых для развития ресурсов (включая и пригодные для продуктивного сельского хозяйства земли) за счет все возрастающих масштабов и темпов территориальной экспансии. Экономический прогресс России, прежде всего в области совершенствования материального базиса экономики (вовлечение в хозяйственный оборот новых прогрессивных видов ресурсов, технологий и организация новых производств), почти неизменно приводил к созданию новых территориальных баз развития и приобретал черты ярко выраженного «географизма».

В течение XVII—XVIII вв. можно выделить несколько «волн» ресурсно-промышленного освоения территории России, которые в решающей степени определяли динамику и направленность колонизационного процесса. Стимулируемая интересами казны погоня за высокоценной сибирской пушниной предопределила феноменально быстрые темпы и масштабы освоения Сибири с характерным смещением землепроходческой активности в северо-восточном направлении: характерно, что выход русской колонизации на рубежи Оби, Енисея, Лены и Тихого океана на севере происходил с опережением в 15—20 лет по сравнению со средней и южной полосой. Кроме того, само движение колонизации на юго-восток, в верховья великих сибирских рек, во многом стимулировалось необходимостью отыскания благоприятных для земледелия районов с целью снабжения хлебом северных баз пушного промысла, ярким примером чего может служить первый этап продвижения русских в Приамурье — в Даурскую «землицу».

Возросшая потребность государства в черных и цветных металлах с начала XVIII в. покрывалась не столько за счет интенсификации производства в старых металлургических районах (олонецкие, поволжские и подмосковные заводы), сколько стремительным и широчайшим по территориальному охвату созданием горно-металлургических очагов на востоке страны — почти одновременно на Урале, Алтае и в Забайкалье. Именно эти регионы составили своеобразную стратегическую «ось» всего дальнейшего индустриального освоения восточных окраин России. Похожую географическую закономерность можно констатировать и для третьей «волны» промышленного освоения, связанной в XVIII—XIX вв. с разработкой месторождений золота и серебра.

Естественно-географические факторы в целом играли в процессе модернизации России совершенно исключительную роль. Формирование географической модели организации промышленного производства (и вообще того, что в XX в. будет названо политикой размещения производительных сил) на начальном этапе модернизации почти целиком определялось перевесом природно-естественных факторов продуктивности (наличие богатейших и доступных для разработки ресурсов руды, леса, водной энергии и т.п.) над социально-экономическими и технологическими. Как отмечают исследователи, при почти одинаковом уровне техники и социальной организации металлургического производства, на Урале себестоимость производства полосового железа была более чем в 2—2,5 раза ниже, чем на олонечких и подмосковных заводах. Отнести это следует почти

целиком на счет благоприятных природных факторов [2]. Однако дело заключалось не только в высоком качестве уральских железных руд и доступности богатых лесных ресурсов, но и в том, что наличие крупных запасов топлива и сырья позволяло перейти к организации металлургического производства в принципиально ином, чем прежде, крупнозаводском масштабе. По-видимому, уже на этой стадии зарождения российской промышленности «экономия масштаба» включалась в состав основных факторов снижения себестоимости продукции, а сами крупнопромышленные формы производства определяли принципиальную совместимость организационно-технической основы развития индустрии в России и на Западе.

Не будет преувеличением заключить, что именно благодаря исключительным естественно-природным факторам и экстенсивным резервам роста экономики становилась возможной сама политика модернизации страны. О динамике модернизационного «скачка» ясно говорит, например, статистика производства черных металлов в России с 1700 по 1800 гг.: за 1700–1725 гг. выплавка чугуна в стране выросла со 150 тыс. до 800 тыс. пуд. (рост в 5,3 раза за 25 лет), а к 1767 г. — до 4,5 млн пуд. (рост за более чем 40 лет в 5,6 раза). К 1800 г. темпы производства чугуна несколько замедлились, достигнув лишь 10 млн пуд. (рост по сравнению с 1767 г. в 2,2 раза) [3]. Хотя в абсолютных цифрах прирост на протяжении всего столетия имел нарастающую тенденцию, несомненно, что о собственно модернизационном «скачке» (не только количественном, но и, несомненно, качественном) более убедительно свидетельствует как раз статистическая прогрессия (то есть кратность этого промышленного роста), соотношенная со скоростью перемен. Увеличение абсолютного прироста металлургического производства в большей степени отражает последовательное расширение его материально-производственной базы; процент ежегодного прироста (свыше 17% в 1700–1725 гг., 11% в 1725–1767 гг., 4% в 1767–1800 гг.) — влияние тех факторов, которые можно, по аналогии с современностью, рассматривать как инновационные. Для первой четверти XVIII в. (и отчасти для дальнейшего развития вплоть до 1760-х гг.) такой «инновацией» являлась главным образом организация нового производства, базировавшаяся на беспрецедентном экстенсивном приросте физических ресурсов, то есть по существу на освоении новых горно-металлургических районов. В ряде случаев это новое развитие было, в сущности, равнозначно открытию целых регионов как новых географических реальностей. Не случайно В.О.Ключевский, характеризуя многогранную деятельность Петра I по развитию новых горно-металлургических районов, писал, что «в этом отношении Урал можно назвать открытием Петра» [4].

В условиях прогрессирующего международного разделения труда выход в XVIII в. уральского железа и меди на мировой рынок свидетельствовал о существенном укреплении материальной базиса развития национальной промышленности. Наличие последнего в перспективе должно было препятствовать процессам экономической и социально-культурной периферизации, которые в это время под давлением ускоренной индустриализации Западной Европы характеризовали развитие большинства «полуевропейских» стран. Поскольку Россия, несомненно, проигрывала в промышленной конкуренции странам формирующегося западного

капитализма прежде всего по критерию эффективности производства (рациональной капиталистической организации, позволявшей на основе жесткой калькуляции затратно-ценовых факторов добиваться прибыльности производства [5]), то запечатленное в конкурентных успехах временное геоэкономическое «равновесие» промышленных потенциалов России и Запада обеспечивалось опять же целиком за счет естественно-природных ресурсных факторов. Они, как и фактор относительно дешевого подневольного (в основном приписного) труда, строго говоря, почти не включались в сколько-нибудь серьезно калькулируемые производственные затраты.

Коль скоро внутренне неограниченный процесс территориальной экспансии с неизбежностью выходил за пределы исходного этнического «ядра», лежавшего в основе формирования национального государства, и был связан с поглощением (либо мирным присоединением, либо завоеванием) ранее вполне «суверенных» иноэтничных компонентов, он приобретал отчетливые черты строительства грандиозного имперского «макрокосма» — «государства государств». Однако формирование империи абсолютистского типа связано не только с выходом национального государства за пределы его этнической территории. Существенно то, что с определенного исторического момента экстенсивный рост экономического организма страны и имперское строительство вступали в определенный резонанс, взаимно усиливая друг друга. Смещение ресурсно-силовой базы экономики из исторического центра страны на новые неосвоенные и незаселенные территории востока осуществлялось, как правило, в русле расширения собственности абсолютистского государства (которая в силу сохранявшегося патримониального характера русской государственности была в первое время неотделима от собственности царского двора) и системы бюрократического контроля. Это, в свою очередь, усиливало политическое могущество императорской власти, резко возвышая ее над старой структурой социальных и политических отношений, в той или иной мере соответствующей нормам сословно-представительной монархии.

Источником усиления имперской власти становились различные виды экономической и торговой монополии, получавшей развернутое поглощение прежде всего на вновь присоединенных территориях. Первоначально основным экономическим ресурсом, на который распространилась монополия государства, становится пушнина («мягкая рухлядь») высшего качества, игравшая с XVI в. определяющую роль во внешней торговле России с европейскими странами. Стремясь оградить ясачные сборы от расхищения, а их естественную ресурсную базу от быстрого истощения, правительство всячески ограничивало частный торговый оборот пушнины, а также запрещало нарушать земельные права инородцев на охотничьи угодья, вести с ними торговлю (особенно вином и табаком). В 1597 г. царским указом была запрещена торговля пушниной для служилых людей, в 1601 г. специальным указом воеводам строжайше предписывалось пресекать попытки подмены служилыми людьми лучшей пушнины из ясачных сборов собственными «худыми» шкурками. В связи с быстрым истощением естественных ресурсов высококачественной пушнины в 1690-х гг. последовала целая серия указов, преследовавшая частную скупку и оборот пушнины «первой руки» служилыми людьми (в частности через

подставных купцов) и устанавливавшая монополию казны на торговлю собольим мехом (1698—1699 гг.). В 1726 г. был введен запрет на продажу купцами пушнины в Китай. Лишь с необратимым упадком пушного промысла и переходом к взиманию ясака в денежной форме (в районах Поволжья с 1720-х гг., в Сибири — с 1822 г.) большинство этих запретов было в конечном итоге снято.

В дальнейшем объектом государственной монополии становится разработка месторождений золота и серебра. Хотя горное законодательство России, как правило, включало золото и серебро в число промыслов, с которых взималась горная подать, частная добыча золота и серебра в стране до 1812 г. находилась под запретом. Организация горного производства в России вообще находилась под сильным воздействием правительственной регламентации, направленной на резервирование в распоряжении государства стратегически крупных объемов ресурсов военно-хозяйственного назначения. Помимо установления монопольной собственности государства на недра, Берг-привилегия 1719 г. предусматривала взимание горной подати с производителей металла в виде десятой части валового продукта (а не чистого дохода!) и право государства на преимущественную покупку в казну меди и селитры по установленной (часто заниженной) цене [6]. При той беспрецедентной организационно-экономической роли, которую государство приобретало в связи с присоединением новых территорий, вполне естественным становилось резкое расширение за счет их ресурсной базы казенного сектора промышленности. Последний, как правило, включал в себя наиболее продуктивные и высокоценные ресурсные источники, относительно которых государство было заинтересовано в установлении прямого контроля за производством и распределением. Роль частного предпринимательства в этих условиях не могла быть вполне самостоятельной, поскольку, во-первых, базисные факторы производства (посессионное землевладение, то есть приписка земель к частным заводам; горная регалия на полезные ископаемые; основной контингент рабочей силы в виде приписного крестьянства) продолжали составлять собственность государства и, во-вторых, в любой момент могли быть возвращены в казну (что происходило довольно часто). Так, например, произошло с демидовскими металлургическими заводами на Алтае, которые после открытия здесь богатейшего серебряного рудника (Змеиногорское месторождение) были взяты в 1747 г. в управление Кабинета и почти полностью перепрофилированы на выплавку серебра. Фактически, возможности доступа к ресурсам для частного предпринимательства были открыты лишь в той мере, в какой оно могло брать на себя риск и тяжесть первоначального промышленного освоения территории и тем самым страховать недостаточную эффективность казенного производства.

Примечательно, что там, где высокодоходные источники экономических ресурсов по времени (XV—XVII вв.) и обстоятельствам (параллельно с формированием централизованной сословной монархии) их освоения начинали эксплуатироваться частными промышленниками, абсолютистское государство в XVIII в. предпринимало попытки «догоняющего» их огосударствления. Так, например, в XVIII в. обстояло с соляными промыслами Русского Севера и Прикамья — исторически первой крупной отраслью русской промышленности, развитие которой в процессе освоения новых территорий характеризовалось ярко выраженным эффектом регионализации. В 1705 г. была введена государственная монополия на продажу соли, по усло-

виям которой частные солепромышленники должны были сдавать соль в казну по фиксированным (явно заниженным) ценам. С 60-х гг. XVIII в. после длительного периода упадка в производстве соли начинают организовываться крупные казенные соляные промыслы (в Дедюхино) [7].

В этом случае мы, по-видимому, имеем дело не с исключительно российским явлением. Ситуация, когда импульсы складывания новой властно-политической структуры (в данном случае абсолютистского государства) инициировались развитием сильных ресурсных баз и соответствующих им новых принципов экономической организации на окраинах национальной территории, можно проследить и на примере европейских государств. С этим, например, связано возвышение в XVIII в., при Гогенцоллернах, Прусского королевства, самим источником возникновения и роста которого послужила территориальная экспансия Бранденбургского маркграфства на славянские и прусские земли побережья Балтийского моря. Будучи первоначально бедным и отсталым государством, зародившимся на северо-восточных окраинах немецких земель, Пруссия через усиление авторитарной королевской власти, оснащенной дисциплинированной армией и эффективной бюрократией, постепенно превращалась в новое ядро национального объединения Германии на принципиально иных государственно-политических основаниях, чем те, которые были характерны для «Священной Римской империи» [8]. Эта «территориальная» закономерность, затрагивающая генезис институционально-политических механизмов модернизации, отчетливо прослеживалась и в развитии стран Востока. В Османской империи процесс политической и культурной модернизации был связан с деятельностью правителя Египта (страны подчиненной, периферийной по отношению к «национальной территории» османов!) Мохаммеда Али, который опираясь на свою «региональную» базу поддержки истребил важную опору старого средневекового порядка — корпус янычар и тем самым в 1826 г. инициировал серию крупных институциональных реформ. Одним из ближайших последствий этого исторического поворота стал быстрый рост и усиление позиций центрального бюрократического аппарата, благодаря которому в Османской империи сложилась принципиально новая система управления, копирувавшая в ряде существенных черт «новоевропейский» абсолютизм [9].

Таким образом, в России модернизация приобретала форму эпитенеза в двух отношениях: не только в виде заимствования из Западной Европы новых институциональных и технико-экономических форм, но и в территориально-географическом разрезе — в виде подведения под экономику новой пространственной и ресурсной базы и, как результат, формирования на этой основе совершенно новых властно-политических институтов и отношений, новых возможностей государства по отношению к своим подданным.

Более сложным представляется вопрос о том, как процесс модернизации в конечном итоге соотносился с развитием пространственно-географического базиса российской экономики. Несомненно, что политика модернизации, основанная на вовлечении в экономический оборот естественных ресурсов, способных дать значительную и быструю отдачу, не могла не вести к «очаговому», и в этом смысле несколько искусственному и одностороннему, хозяйственному росту новых территорий. Об известной искусственности этого типа развития можно говорить в

том смысле, что на вновь осваиваемых территориях государством из наличных социальных, технических и культурных элементов фактически осуществлялась форсированная «сборка» нового экономического уклада, связанного не столько с местной хозяйственной средой, сколько с удовлетворением стратегических потребностей государства (в частности его военного и финансового ведомств). С одной стороны, отрасли экономики, обеспечивавшие ресурсно-технологическую основу модернизационного перехода, должны были с большей легкостью утвердиться именно на новых территориях, где все необходимые для организации производства материально-сырьевые ресурсы были вовлечены в хозяйственный оборот (а значит и захвачены инерцией масштабов и форм, типичных для старых хозяйственно-культурных укладов) в минимальной степени. Но, с другой стороны, недостаток рабочих рук (как и вообще местного социального и культурного «материала») придавал здесь государству исключительное значение в насаждении нового производства и соответствующих ему социальных порядков. Институт приписки и покупки крестьян к заводам на длительное время обусловил господство крепостного труда в горно-металлургической промышленности Урала. На самых отдаленных и слабозаселенных территориях, в частности на Нерчинских заводах, использовался труд ссыльно-каторжных. В условиях дефицита труда любые резервы свободных рабочих рук на новых территориях становились объектом жесткой государственной регламентации и неминуемо должны были прикрепляться государством к разрастающемуся сектору горнозаводского хозяйства, о чем свидетельствовало, например, введение в 1736 г. института «вечноотданных», а также сенатский указ 1742 г., запрещавший держать на частных работах всякого рода бродячий, беспаспортный люд и даже работников с «писаными» паспортами.

Фактически в результате модернизации возникала укрупненная структура «современной» заводской промышленности, которая первоначально не являлась продуктом органического развития предшествующих экономических укладов и не вписывалась в естественную динамику заселения и хозяйственного освоения новых территорий. Отдельные территориальные «анклавы» модернизированной промышленности функционально представляли собой элементы разветвленного и военизированного государственного хозяйства, которое во всех своих аспектах представляло новую социальную, технологическую и культурную действительность, противопоставленную старой «московской Руси». В.О.Ключевский выразительно запечатлел образ этой вновь возникающей реальности: «На впечатлительных и поверхностных наблюдателей народнохозяйственные его (Петра I — К.Э.) предприятия производили сильное впечатление: Россия представлялась им как бы одним заводом; повсюду извлекались из недр земных сокрытые доколе сокровища; повсюду слышен был стук молотов и топоров; отовсюду текли туда ученые и всяких званий мастера с книгами, инструментами, машинами, и при всех этих работах виден был сам монарх, как мастер и указатель» [10]. По существу, эта схема видения петровской модернизации как грандиозного «единого предприятия» и в приложении к развитию индустриального базиса России ограничивает рамки последнего рациональным (в понятиях того времени) решением технической задачи, во многом отвлеченным от его экономической и социальной цены. С за-

зависимостью этого развития от направляющей и мобилизующей роли государства было связано не только значительное число неудавшихся предприятий, лопавшихся всякий раз, когда ослабевал поток направляемых в них государством невозвратных ресурсов. Немалая часть ресурсов, первоначально мобилизованных государством, но затем не востребованных жестко контролируемой схемой модернизационного «строительства», фактически гнила без всякого эффекта для общего развития национальной экономики. Это позволило В.О.Ключевскому в свое время отмечать не только достигнутую петровской модернизацией меру прогресса, но и его «изнанку»: «От большой стройки всегда остается много сора, и в торопливой работе Петра пропадало много добра», поскольку «преобразователь не умел или не успевал им распорядиться» [11]. Такого рода факты очень точно иллюстрируют наличие определенного разрыва между «высоким» — модернизированным — сектором экономики и общим базисом развития национальной экономической жизни.

Причину этого разрыва в самом общем смысле следует видеть в узости той мотивационной основы, с которой был первоначально связан процесс модернизации. В России, как и в других странах европейской «полупериферии» (например в Пруссии, позднее в Османской империи), такой мотивационной основой, инициировавшей модернизацию, становилось стремление преодолеть (или не допустить) отставания от передовых стран прежде всего в области военной технологии, в связи с чем возникала необходимость «создавать собственное военное производство, обеспечивающее постоянную поставку оружия и боеприпасов для нужд армий», а армия превращалась «в своеобразного проводника модернизации» [12].

В России значительный сегмент передовой по условиям времени промышленности в отраслевом и географическом аспектах очень точно соответствовал потребностям растущей военной машины и интересам ее самообеспечения по самым критическим видам ресурсов. Это, в первую очередь, выплавка черных и цветных металлов, металлообработка и судостроение, производство оружия и пороха, полотняно-парусинная, суконная промышленность. Благодаря огромным естественно-природным резервам экстенсивного роста военноориентированной экономики и экономики «двойного назначения» (то есть способной удовлетворять как военные, так и отчасти гражданские потребности), узость и недостаточность этой основы индустриального развития могла осознаваться и правительством, и обществом с большим запозданием. В России таким критическим рубежом явилось поражение в Крымской войне 1853—1855 гг., которое отчетливо показало, что военно-техническая модернизация страны (а с ней и поддержание системы так называемой «двойной» экономики) уже не могла обеспечиваться на прежней консервативной основе — ни за счет экстенсивного вовлечения в оборот новых ресурснобогатых территорий, ни путем все более масштабной нерыночной «перекачки» в военный сектор материально-финансовых ресурсов из технологически отсталого, стагнирующего гражданского сектора экономики. Подобную же зависимость Ф. Фукуяма обнаруживает между поражением России в русско-японской войне 1904—1905 гг. и вторым всплеском русского реформизма, связанным с деятельностью П.А.Столыпина

и существенно повлиявшем на динамику промышленного подъема страны перед первой мировой войной [13].

Поддержание высоких (если не лидирующих, то достаточных для военного «сдерживания») темпов военно-технического развития с этого определенного момента потребовало перехода к расширению — и в значительной степени реформированию — общих социально-экономических и институциональных предпосылок, на которых базируется развитие общества. В этом контексте следует учитывать к тому же, что обусловленная процессом «военной» модернизации территориальная экспансия, отвлеченная казалась бы от соображений экономической цены прогресса, все-таки имела серьезные экономические ограничители в виде критически возрастающих государственных расходов на поддержание инфраструктуры, системы управления и обороны на все более обширных территориях империи [14]. Смена периодов территориальной экспансии и пространственно-географического расширения ресурсно-экономического базиса модернизации периодами более или менее глубокого реформирования социально-экономической и политико-институциональной структуры общества воспроизводит, по-видимому, одну из наиболее выразительных «ритмических» закономерностей русского исторического процесса.

Оценивая открываемую царствованием Петра I серию российских модернизаций, следует учитывать, что их наследуемые от эпохи к эпохе пространственно-географические конфигурации существенно отличались от западноевропейских моделей имперского «строительства» уже на том основании, что роль окраинных территорий в России не сводилась лишь к функции создания материально-ресурсных и финансовых накоплений, используемых на цели развития в пределах исторического и политического центра государства (что, в сущности, характеризует «владение», или «колонию»). Отсюда и выражавшая пространственный аспект развития русская колонизация далеко не в полной мере может быть сопоставлена с системой эксплуатации государствами Западной Европы своей колониальной периферии. Думается, что не только по идеологическим соображениям в русской общественной мысли XIX в. довольно прочно утвердился тезис о существенном (если вообще не полном) отличии процессов русской колонизации новых территорий от экспансионистской активности западного колониализма. Например, Н.Я. Данилевским отмечалось, что направлявшиеся из центра страны колонизационные потоки, как правило, «образуют не новые центры русской жизни, а только расширяют единый, нераздельный круг ее».

Весь процесс русской колонизации окраин (Кавказ, Новороссия, Урал, Сибирь и др.) таким образом представлялся растянутым во времени, поэтапным «расселением великорусского племени», расширением целостного континентального массива государственной территории, политической «осью» которой оставался великорусский исторический центр. В каждом географическом фрагменте Российского государства, по мысли Н.Я. Данилевского, сущностно проявляется не «отдельная провинциальная особь» и не государственное «владение» как таковое, но «сама Россия, постепенно, неудержимо расширяющаяся во все стороны, заселяя граничащие с ней незаселенные пространства и уподобляя себе включенные в ее государственные границы инородческие поселения» [15]. Рассматриваемые

с этих позиций различия между экономически более развитым центром страны и слабо развитыми окраинами, никогда не уподобляясь жестким политически обусловленным противоположностям метрополии и колонии, могли трактоваться главным образом как обусловленные давностью заселения и культурно-экономического освоения. Позднее эти же мысли относительно природы и характера русской колонизации убежденно (и во многом уже как цельное начертание «евразийского» исторического мировоззрения) отстаивал Г.В.Вернадский. Для него и русская колонизация востока России, и само историческое бытие окраин — это не только видоизменение «русской народности» и русской культуры в пределах основных черт одного и того же, неизменно сохраняющего единство национального типа, но и в еще большей степени расходящиеся из центра страны круги застывшего «социального времени»: «Наблюдая все пространство, где действует данное человеческое общество, в разрезе любого момента времени, мы можем видеть — все дальше и дальше, чем позже мы смотрим — эти застывшие круги, отзвуки того, что прежде жило в центре, но что там давно уже умерло» [16].

В таких трактовках, безусловно, наличествует множество преувеличений. Очевидно, что Н.Я.Данилевский чересчур жестко противопоставлял начало «народной» колонизации (как органического расширения аутентичной, «настоящей Руси») «государственному», собственно, и воплощавшему, по его мнению, искусственные и в высшей степени неудачные «колонизационные предприятия» (Русская Америка). Подобное же стремление к несколько отвлеченной, концептуальной «чистоте» исторического вывода чувствуется в предлагаемой Г.В.Вернадским трактовке колонизации в категориях «закона соотношения времени и пространства». Но обе исторические концепции содержат также и глубокое рациональное зерно — прежде всего, в том решающем значении, которое придавалось определению характера колонизации фактором географической (и геополитической) цельности или, наоборот, «раздельности» заселяемого территориального массива.

Однако подлинное значение этой географической детерминации колонизационных процессов невозможно уяснить лишь через категории заселения и формирования территориальной структуры без обращения к их социально-экономическому содержанию. Уже простое сопоставление русского освоения Урала и Сибири, например с британским присутствием в Индии, выявляет принципиальную разницу в достигнутых результатах экономической политики. В то время, как на восточных окраинах России в процессе модернизации возникали крупные очаги технически и организационно передовой по условиям времени горнометаллургической промышленности, британское господство в Индии привело к деиндустриализации страны (что особенно наглядно проявилось в упадке текстильного производства), превращению ее исключительно в сырьевой придаток бурно развивавшейся английской промышленности [17]. Объяснение этому очевидному и разительному контрасту лежит, на наш взгляд, как раз в пространственно-экономических особенностях российских модернизаций.

Подчиненная стратегическим замыслам государства и сфокусированная на задаче преодоления военно-технической отсталости страны политика модерниза-

ции достигала высоких темпов экономического роста главным образом за счет принудительной мобилизации финансово-материальных и человеческих ресурсов, которая, в свою очередь, обеспечивалась мерами жесткого военно-бюрократического контроля. В рамках модернизированного сектора промышленности, разумеется, формировались элементы современных знаний, технологического опыта и высшей организации труда, однако узость исходной мотивационной основы модернизации и неизбежный разрыв между высотами индустриально-технологического прогресса и остальным экономическим базисом страны еще никоим образом не предвещал нисходящих в глубь народной толщи широких и благотворных экономических и социально-культурных последствий.

Более того, вся политика модернизации, отвечающая, как уже упоминалось, от соображений экономической и социальной цены прогресса, предполагала форсированное и одностороннее изъятие ресурсов из общества и его отдельных сегментов. Если можно применительно к модернизации вести речь о механизме колониальной эксплуатации как источнике экономического развития, то эту систему можно с полным правом назвать всеобъемлющим «внутренним колониализмом». В отличие от западных обществ, где субъект и объект ресурсной эксплуатации все более отчетливо реплицировались в отношениях метрополии и заморских колоний, в России эквивалент колониальной «дани» налагался на все общество в целом, а не только на отдельные территории государства. В этом отношении политика модернизации (с постоянно доминировавшим внутри нее всеобъемлющим стратегическим проектом проводимых преобразований) была до известной степени индифферентна к чисто политическим способам закрепления функциональных экономических различий между метрополией и колонией и исходила исключительно из естественных ресурсных возможностей территорий.

Таким образом, если активно выходявший в пространство мирохозяйственных связей и отношений развивающийся капитализм двигался по пути превращения географически обусловленного международного разделения труда в систему устойчивого и долговременного распределения экономических ролей («центр» — «периферия»), а затем — по линии политико-институционального закрепления этих различий (метрополия — колония), то осуществляемая абсолютистским государством политика модернизации в большей степени воспроизводила эти различия в имперской иерархии порядков и укладов жизни, внутри социальной (сословной, этносоциальной, конфессиональной и т.п.) структуры общества, и в гораздо меньшей — в территориально-географическом, региональном разрезе. В контексте модернизации географическое разнообразие государственной территории России (к тому же напомним: территории цельной, представлявшей собой единый расширяющийся континентальный массив!) и основанное на нем территориальное разделение труда в большей степени приобретали прагматически ориентированное ресурсно-технологическое измерение. Подобные тенденции (скорее как исключение) знала и практика европейского колониализма. В той же британской Индии на рубеже XVIII—XIX вв. на фоне вызванного колониальной политикой общего упадка местной промышленности и ремесла довольно долго сохраняло экономическое значение вновь возникшее в Калькутте при англичанах

и продолжавшее развиваться в Бомбее судостроение, служившее стратегическим целям налаживания торговых связей Ост-Индской компании с Китаем.

«Колониальность» развития восточных окраин Российского государства можно, таким образом, усматривать скорее во все более полном подчинении их экономических ресурсов и возможностей внешним интересам государства (и при недостатке, по историческим обстоятельствам, их хозяйственной и социально-культурной освоенности — в известном блокировании поступательного социально-экономического развития), чем в сознательно преследуемом и политически закрепляемом способе их экономической эксплуатации (захват ресурсов, неэквивалентный обмен сырья на промышленные товары). С этой точки зрения отдельные «анклавы» колониальной эксплуатации можно было обнаружить не только на окраинах России, но и в историческом центре страны. И, наоборот, на западных окраинах Российской империи мы находим аннексированные инновационные территории (Польша, Финляндия), которые в силу их широкой законодательно закрепленной автономии и высокого уровня экономического развития лишь очень условно можно было относить к колониям — не только в экономическом, но даже и в чисто политическом смысле. Следует констатировать, что в России о колониях можно было говорить лишь в узком экономическом смысле как о вновь осваиваемых, незаселенных землях. Типичное для Запада политически обусловленное разделение имперского пространства на метрополию и колонию в России в большей степени приобретало характер исторически сложившейся экономической и культурной дистанции между центром и периферией, причем определяющее влияние на длительность сохранения этого разделения на центр и периферию оказывала не столько государственная политика, сколько общая замедленность развития, обусловленная гигантскими размерами страны.

Сразу оговоримся, что выделение этого господствующего строя отношений между центром и периферией отнюдь не отменяет исключений из общего правила, о которых упоминал Н.Я. Данилевский, в частности, исторически зафиксированных отдельных попыток и даже тенденций применения к восточным окраинам России классических колониальных практик «ост-индского» образца. Н.М. Ядринцев упоминал в этой связи о планах Екатерины II — впрочем, с самого начала совершенно искусственных и беспочвенных — превратить Сибирь в отдельное от метрополии «иностранное царство», существенно этнизируя способ управления ею [18]. В этом же контексте, по-видимому, следует оценивать и значение «Сибирского учреждения» 1822 г.

Набиравший силу в последние десятилетия XIX в. «свободный» капитализм также должен был усиливать исторически сложившийся разрыв в уровнях развития Европейской России и ее отсталых восточных окраин, поскольку придавал отсталости окраин уже не временный и не чисто количественный характер, но качественную, выражаемую группировкой основных экономических факторов определенность (зависимость от «мануфактурного ига» промышленного Центра, низкий уровень воспроизводства местного капитала, недостаток трудовых ресурсов). Эта тенденция однако характеризовала не столько государственную политику модернизации, сколько параллельный ей и во многом опирающийся на ее достижения процесс «свободного» капиталистического развития.

Такая постановка проблемы дает нам ключ к пониманию характерных для России исторических механизмов регионализации или, по крайней мере, многое позволяет в них объяснить применительно к «модернизационной эпохе» (XVIII—XX вв.). Кроме того, исследование пространственно-географических аспектов российских модернизаций позволяет уяснить, почему в России как модернизирующейся империи процессы национальной консолидации оказались замедленными и незавершенными по сравнению со странами Западной Европы, которым удалось консолидировать свои нации прежде всего политически — в основном уменьшением социальной поляризации гражданских состояний и «либерализацией» складывающегося гражданского общества метрополии за счет «восстановления» иерархии неравенства в этнически и культурно чуждом — в полном смысле слова внешнем — колониальном пространстве [19]. В конечном счете в той же Великобритании мощным социальным интегратором «строительства нации» становилась постепенно приобретающая «коллективный» характер эксплуатация заморских колоний, прежде всего, Индии. (Приводимые Х.-Х.Нольте споры относительно вклада «бенгальской добычи» в английскую промышленную революцию [20], по существу, ничего не меняют в нашей оценке, но скорее подтверждают ее. Факты вложения английскими бюрократами-«набобами» добытых в Индии средств в земельные владения и государственные ценные бумаги свидетельствуют как раз о том, что «бенгальская добыча» не только канализировалась по линии промышленных инвестиций, но и служила источником обогащения для гораздо более широкой социальной страты английского правящего класса, если не всего общества в целом). В России, где подобные «коллективные» механизмы колониальной эксплуатации исторически не сложились или имели не более чем маргинальное значение в силу отсутствия крупных колониальных владений общенационального значения как таковых, на роль такого интегратора могло претендовать только само государство с его самодовлеющими целями модернизации.

Исключительная роль государства как главного проводника и агента модернизации в известном смысле помещала насаждаемые им формы экономической и социальной организации колонизируемого пространства «вне исторического времени», поскольку не допускала в полной мере широких возможностей для капитализации ресурсов вновь присоединяемых территорий и их использования для перехода к новой, более прогрессивной системе общественно-экономических отношений. В России присвоение государством экономических ресурсов внеэкономическим путем — в виде ли создания на основе принудительного труда казенных предприятий, или военной добычи и контрибуций (то есть того, что получило в современной экономической систематике наименование «трофейной» экономики [21]), или посредством специфических способов государственной фискальной эксплуатации подчиненных территорий (например ясака, налагаемый на инородческие племена Сибири) — на Западе находило соответствие в различных формах грабежа (морской разбой, работорговля) и колониальной эксплуатации (неэквивалентный обмен) обширных заморских империй. Однако масштабы и последствия этого феномена в России и в странах Западной Европы были существенно различными. Если на Западе он явился исторически необходимой стадией первоначального накопления

капитала и в дальнейшем продолжал существовать (сокращая, впрочем, сферу своего господства) в «порах» относительно здорового экономического организма, каковым становилось развивающееся капиталистическое хозяйство, то в России он приводил к легитимации «военно-феодальной» эксплуатации в виде разрастающегося государственного хозяйства (казенные монополии, казенная промышленность, казенные и кабинетское землевладение и т.п.). По-видимому, закономерно, что территории, присоединявшиеся к Российской империи в период укрепления абсолютистской монархии, становились в меньшей степени ареной роста частновладельческой феодально-крепостнической эксплуатации и в большей степени объектом жестко регламентированной эксплуатации государственной.

О «свободе» хозяйственной деятельности на вновь присоединенных территориях можно говорить очень относительно и только в порядке противопоставления их экономического и социального быта крепостничеству, утвердившемуся в старой «коренной» России. Свободной частнохозяйственной инициатива могла быть только в двух случаях: во-первых, когда у ее субъектов имелась возможность осуществлять крупные накопления в рамках относительно щадящего режима государственной эксплуатации (что, впрочем, не отменяет такой возможности и в рамках крепостнического хозяйства, поощрявшего, например, переход на оброк, отходничество и другие виды рентного присвоения дохода); во-вторых, когда процесс первоначального накопления основывался на возможности удачно избежать государственного фискального и административно-правового контроля. В последнем случае свободная хозяйственная деятельность почти определенно приобретала в глазах государства «криминальный» характер, поскольку предполагала сокрытие от его административного контроля либо целиком источника присвоения богатства (в том числе огромных участков территории), либо его реальной доходной базы. В ряде случаев опережавший распространение государственного контроля узаконенный и стихийный отток населения страны на окраины уже с начала XVII в. приводил к устойчивому присутствию в составе движущих сил русской колонизации всевозможной бесконтрольной «вольницы», в первую очередь, в виде расселившихся по Сибири партий «вольных» промышленников и авантюристов. Сосредоточение этой «вольницы» происходило на самых удаленных от административных центров северных и восточных окраинах.

Известно, что с конца XVI в. (по крайней мере, с 1598 г., когда в «Мангазейские земли» был послан для сбора ясака воевода Федор Дьяков) и до закладки Мангазейского острога отрядом Мирона Шаховского и Данилы Хрипунова в 1600 г. обосновавшиеся на этой северной окраине русские и зырянские промышленники построили свои городки, организовали торговлю с местными племенами и даже обложили их ясаком, который «имали» на себя [22]. Важен не столько масштаб беглого и иного «вольного» элемента в общем колонизационном движении, о чем долго спорили историки, сколько обусловленные слабостью правительственного контроля доступные, лежащие на поверхности, возможности «свободного» личного обогащения. Последним, как известно, не брезговали и официальные местные администраторы. И впоследствии на отдельных труднодоступных пограничных территориях возникали тайные, или, точнее сказать, официально не санкционированные, поселения бесподатного беглого

(главным образом раскольничьего) элемента, вроде общины бухтарминских «каменщиков» на Алтае во второй половине XVIII в. [23]. Один из поздних феноменов такого рода — история «желтугинской республики», привлекавшей в 1850-е—1860-е гг. на золотоносные россыпи незаселенного (китайского) правобережья Амура массу бродяг, беспаспортных ссыльно-поселенцев, русских крестьян и китайской бедноты. Разгром «желтугинской республики» китайскими войсками привел к расселению русских «вольных хищников» на ближайшие к Амуру реки (система р. Олдоя), в различные золотоносные районы Сибири и Забайкалья. Бесконтрольно разрабатывая самые богатые и подготовленные к эксплуатации золотоносные площади, приамурские «хищники» контрабандно сбывали в Китай до 150 пуд. золота ежегодно [24].

Симптоматично также, что на новых территориях, где не успевали воспроизводиться юридические и этические регуляторы господствующих хозяйственных форм, свобода экономической деятельности часто означала и «теневую» свободу форм эксплуатации, включая самые архаичные и откровенно криминальные (разбой, работорговля, обложение данью, принудительный неэквивалентный обмен). Достаточно типичной была ситуация, когда агенты первоначального накопления, вступающие в экономическое общение с инноватичными группами населения, стоящими на более низком уровне социально-экономического (и вообще цивилизационного) развития, с гораздо большей легкостью усваивали выгодные для них архаичные формы эксплуатации, чем навязывали свои, как правило, более прогрессивные по общей шкале социального и нравственного развития.

Так, недостаток женского населения в отдаленных частях Сибири привел в XVII в. к усвоению (и сохранению вплоть до середины XVIII в.) служилыми людьми и промышленниками туземной практики ясыря — торговли «живым товаром» (в основном женщинами и детьми, приобретаемыми или насильно захватываемыми у инородцев). Причем, как отмечают некоторые авторы, сам ясырь уже являлся известной регламентацией со стороны местных воевод гораздо более необузданной и жестокой практикой захвата и продажи невольников [25]. Довольно частые военные столкновения туземных племен способствовали появлению «предпринимчивого» слоя работорговцев из числа самих аборигенов, которые изрядно «коммерциализировали» ясырь. Захваченные в плен женщины и дети, как правило, продавались русским «вольным» промышленникам, те же в свою очередь на невольников выменивали у служилых людей пушнину из «ясашных» сборов. Запрещение этой практики правительством с целью сохранения объемов сбора ясака по причине слабости государственного контроля никогда не носило обязательной силы, как и запрещение продажи алкоголя инородцам [26]. Развитие пограничной торговли с кочевниками (ойратами и казаками) также распространило в пограничных районах Южной Сибири в XVIII в. практику торговли невольниками. Значительные массы пленников-ойратов продавались казаками в крепостях Сибирской пограничной линии после разгрома китайцами Джунгарского ханства в 1755—1758 гг. Бедственное положение ойратских и казахских беженцев, устремлявшихся под прикрытие русских крепостей, способствовало распространению практики продажи в неволю детей. Целые партии малолетних рабов русские купцы отправляли для перепродажи на Ирбитскую ярмарку.

Характеризуя распространение практики невольничества в Сибири, историк XIX в. И.В. Щеглов писал: «Приобретаемых таким образом — захватом, покупкой и меной — инородцев чиновники, купцы, казаки, ямщики употребляли на разные работы и услуги для себя. Некоторые же покупали в казне, у казаков или инородческих общин поземельные участки и селили на них своих невольников для земледельческих работ. Таким путем явилось в Сибири не мало помещиков-вотчинников не только из числа дворян, но и из людей податного состояния, причем некоторым удавалось также приписывать к своим именьям, сверх поманованного работ, также и бродяг и ссыльных — в виде крепостных» [27].

Примечательно, что эти черты господствовавшей на окраинах «полулегальной» анархии первоначального накопления были совершенно определенно и верно квалифицированы сибирскими «областниками». Например, Н.М. Ядринцевым сибирский кулак «мирод» рассматривался не столько в качестве естественного продукта капиталистической эволюции деревни, сколько как элемент, вызревший на различного рода полуфеодалных «монополиях», ростовщичестве, кабале, продажности чиновников, то есть в «порах» неэффективно реализуемой на окраинах государственной экономической политики [28]. В более широком социально-экономическом разрезе преобладание на восточных окраинах государственной системы эксплуатации вело к заметным структурным деформациям, например, к более быстрому росту аграрного капитализма по сравнению с промышленным, то есть, образно говоря, «подпочвы» капитализма, а не его «верхних этажей» (которые оказывались замещенными системой государственных монополий и казенных предприятий).

Все это наглядно показывает, что государственная политика модернизации, реализуя функции экономико-технологического и общественицизационного прогресса общества, не во всем была тождественна динамике перехода страны на рельсы буржуазно-капиталистического развития, а в некоторых отношениях тормозила, существенно деформировала его условия и предпосылки. В широком пространственно-географическом разрезе, в особенности с учетом правительственной политики на окраинах государства, присутствие этих двух вполне самостоятельных линий социально-экономического развития страны — инициируемой государством модернизации и спонтанного развития капиталистических отношений — видится более явственным, фиксируется в гораздо более «прозрачной» структуре взаимодействия. Столь же противоречивым и неоднозначным в этом контексте видится воздействие политики модернизации на территориально-экономическое развитие страны. Именно с учетом действия данного фактора развитие окраин России, значительно расширявших ресурсный и политический базис модернизации, не может быть сведено ни к одной из однозначных оценок, распространенных в современной историографии (что особенно наглядно проявляется в оценке «колониальности» восточных окраин). Анализ регионального развития России в контексте политики модернизации убеждает, что единственный конструктивный способ всестороннего рассмотрения этой проблемы и формулирования исторических оценок, по-видимому, должен заключаться в «раскладке» единого исторического процесса на ряд сложно взаимодействующих между собой социально-исторических структур, обладающих собственной динамикой и ритмом развития.

## ПРИМЕЧАНИЯ

1. Wallerstein I. The Modern World System-I. San Diego, 1974. P. 294–302.
2. Дулов А.В. Географическая среда и история России. Конец XV — середина XIX в. М., 1983. С. 100.
3. Дробижев В.Э., Ковальченко И.Д., Муравьев А.В. Историческая география СССР. М., 1973. С. 233.
4. Ключевский В.О. Сочинения. В 9 т. Т. 4. Курс русской истории. Часть 4. М., 1989. С. 111.
5. Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. С. 49–59.
6. Штоф А.А. Горные подати на Западе Европы и у нас (Очерк из истории горного законодательства) // Горный журнал, 1889. Т. IV. Кн. 10. С. 118–134.
7. Харитонова Е.Д. Из истории солеваренной промышленности Урала XVIII века // Наш край. Материалы V Свердловской областной краеведческой конференции. Свердловск, 1971. С. 25–26; 1000 лет русского предпринимательства. Из истории купеческих родов. М., 1995. С. 61–66.
8. Conradt D.P. The German Polity. 6<sup>th</sup> ed. White Plains; N.Y., 1996. P. 2.
9. Fukuyama F. The End of History and the Last Man. L.; N.Y., 1992. P. 74.
10. Ключевский В.О. Указ. соч. С. 110.
11. Там же. С. 110.
12. Нольте Х.-Х. Европа в мировом сообществе (до XX в.) // Европейский альманах. История. Традиции. Культура. М., 1993. С. 19.
13. Fukuyama F. Op.cit. P. 75.
14. Брок Д. Экономика и государство в эпоху глобализации // Politikonom, 1997. № 3–4. С. 27.
15. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к германо-романскому. СПб., 1995. С. 411–412.
16. Вернадский Г. Против солнца. Распространение русского государства к востоку // Русская мысль, 1914. № 1. С. 57–58.
17. Антонова К.А., Бонгард-Левин Г.М., Котовский Г.Г. История Индии. М., 1979. С. 292–293.
18. Ядринцев Н.М. Сибирь как колония к юбилею трехсотлетия. Современное положение Сибири. Ее нужды и потребности. Ее прошлое и будущее. СПб., 1882. С. 107, 339.
19. Зубков К.И. Модернизация, либерализм и русская консервативная мысль // Уральский исторический вестник. № 2. Екатеринбург, 1995. С. 15–26.
20. Нольте Х.-Х. Указ. соч. С. 21–22.
21. Шишков Ю.В. Геоэкономика: неустойчивая «гексагональная федерация» или все более целостная глобальная система? // Восток, 1998. № 1. С. 12–13.
22. ПСРА. Т. 36. Сибирские летописи. Ч. 1. М., 1987. С. 140–141; Никитин Н.И. Освоение Сибири в XVII веке. М., 1990. С. 24–25.
23. Покровский Н.Н. Антифеодальный протест урало-сибирских крестьян-старообрядцев в XVIII в. Новосибирск, 1974. С. 323–329.
24. Глинский Б.Б. Из истории колонизации Востока (По поводу «Описания Амурской области», составленного Г.Е. Грум-Гржимайло под редакцией П.П. Семенова) // Исторический вестник, 1894. Т. LVIII. № 10–12. С. 546–547.
25. Armstrong T. Russian Settlement in the North. Cambridge, 1965. P. 117.
26. Stephen J.J. The Russian Far East. A History. Stanford, 1994. P. 22.
27. Щеглов И.В. Хронологический перечень важнейших данных из истории Сибири. 1032–1882 гг. Сургут, 1993. С. 228–229.

28. Шляловский М.В. Оценка Н.М.Ядринцевым характера социально-экономического развития Сибири в 70 — первой половине 90-х гг. XIX в. // Хозяйственное освоение Сибири в период капитализма. Историография проблемы. Сб. научных трудов. Новосибирск, 1988. С. 194—195.

## SPATIAL & GEOGRAPHIC FACTOR OF RUSSIAN MODERNIZATION

The article deals with the array of problems centered on general spatial as well as specifically geographic dimensions of Russia's modernization policies (the 18<sup>th</sup> —19<sup>th</sup> centuries). From the spatial standpoint, the government-guided modernization being closely intertwined with the Empire-building is seen originally as strongly supported by the great territorial extension channeled to build a comprehensive self-sufficient military and technological developmental base. So, geographically, the modernization process was focused primarily on resource exploitation of Russia's eastern «frontier» regions as a factor of achieving the geo-economic «equilibrium» against the more developed West European economies. Those policies substantially weakened a spontaneous socio-economic polarization between the country's developed centre and far more backward peripheries, so differing the Russian colonization process from classical «coloniality» phenomenon. At the same time, the more the state-guided economic projects covered the eastern regions' scene, the more difficult and contradictory were opportunities for spontaneous capitalist evolution of those regions. It's why a new approach is needed to analyse the comprehensive development of Russia through both geographical, economic and political structures.

K.I.Zubkov